

Немцы гордятся своими философами, англичане — королевами, итальянцы — певцами и живописцами. Россия по праву гордится своими гениями слова. Литература стала у нас поистине нациообразующей силой. Будучи главным нашим вкладом в сокровищницу мировой культуры, русская словесность аккумулировала в себе те качества и свойства, которые и обуславливают нашу национальную идентичность, то есть позволяют нам называться русскими не только в силу прописки на шестой части земной суши. Вот почему к говорящим и думающим по-русски применимо в большей степени, чем к другим, не менее замечательным народам, суждение мыслителя Ивана Ильина: «Каждый из нас есть то, что он читает».



Леонид Быков,
доктор филологии,
профессор, зав. кафедрой
русской литературы
Уральского государственного
университета,
Екатеринбург

Служба слова – на злобу дня и на доброту лет

У словесности нашей — забот невпроворот, но и возможностей не меньше. Литература на Руси с древних лет (хотя справедливее считать — со времён её становления) стремилась к тому, чтобы слово было ответственным, было не только буквами на бумаге, пусть и затейливыми. Не забудем, что в здешние пространства книга пришла с принятием христианства. Тем самым акцентировался её сакральный статус. Этой ответственностью слова перед жизнью предопределена масштабность проблематики лучших отечественных произведений, их социально-этическая насыщенность, их нередко учительный пафос.

При многовековой деспотии, подчинившей себе не только политику и экономику,

но и церковь, литература оставалась единственным, по сути, голосом совести, единственным выразителем национального самосознания.

И закономерно отечественная действительность побуждала мастеров слова ставить вечные русские вопросы: «Кто виноват?», «Что делать?», «Когда же придет настоящий день?», «Как нам обустроить Россию?». Именно литература пыталась сформировать из населения гражданское общество. Показателен в этом плане императив, сформулированный Некрасовым: «Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан». Со школьной поры его зачастую трактуют как индульгенцию для не особенно искусного стихотворца, отстаивающего при этом интересы социума. Меж тем логика этих строк иная: не каждому дано быть поэтом, поэт же — гражданин по определению.

Именно гражданская страстность требовала от литераторов откликаться на злобу дня. Служителям муз, что в век Радищева, что во времена Мандельштама, что в наши дни, горестно было констатировать: «Мы живём, под собою не чуя страны...». И слово тех, кто при любой власти в «стране рабов, стране господ» не мог молчать, ощущая, что «чуждиче обло, огромно, стозевно и лайй», помогало сохранять достоинство нации, поскольку собой удостоверяло:

Не всё разграблено, размыто,
разобщено,
не всё лицом в своё корыто
обрачено.

Отсюда — разоблачительный импульс многих хрестоматийных произведений, оспаривающих верноподданнический дух первой части «Домостроя» («Как царя чтить»). Да и в последующем столетии, когда наибольшее благоприятствование десятилетиями поддерживалось для метода, который, по выкладкам А.Д. Синявского, точнее было бы именовать социалистическим не реализмом, а классицизмом, отечественная литература не могла не откликаться на самое насущное и текущее, развенчивая утопические иллюзии и побуждая действительность узреть в зеркале строк подлинную свою сущность. Ограничиваясь лишь десятком названий, только упомяну: «Мы», «Собачье сердце», «Самобийца», «Город Градов»,

«Котлован», «Тёркин на том свете», «Жизнь и судьба», «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», «Утиная охота».

Катализированная внутренними и внешними обстоятельствами XX века обеспокоенность писательского слова социальным обустройством родины затеяла собою куда более частную, казалось бы, озабоченность обустройством в нашем отечестве семьи и дома.

Борис Ручёв в середине XX века посвятил знаменитой стройке в 1930-е годы Магнитогорского металлургического комбината поэму «Любава». Производственный энтузиазм главного героя поэмы Егора не позволяет ему «достатком выйти в женихи» для любезной ему Любавы. Егор строит домну, а его пассия мечтает — о доме. Автор поэмы всецело на стороне Егора. Но тот, кто читает эту поэму сегодня, не может не понимать, что домна не заменит дома.

Русский классический роман — при всех исключениях вроде «Героя нашего времени» — в своих социально-нравственных диагнозах исходил из семейных коллизий. Когда отечественная литература стала осмыслять «настоящий, не календарный Двадцатый век», домашние сюжеты отошли не на второй даже, а на третий и четвертый планы. Их передоверили юмористике, из которой вырос уникальный дар Зощенко, или массовой беллетристике типа «Вечного зова» А. Иванова, «Строговых» Г. Маркова, «Судьбы» П. Проскурина (попутно: и горько, и смешно вспоминать, какими раритетами ещё четверть века назад были «микояновская» «Книга о вкусной и здоровой пище», «Ребёнок и уход за ним» Б. Спока и «Новая книга о супружестве» Р. Нойберга).

Когда на исходе 1960-х появился трифоновский «Обмен», начавший памятный цикл «московских повестей», автора упрекали за «мелкотемье» и «бытовую приземлённость» рассказанной им истории. Но, по убеждению писателя, истории семей и образуют «многожильный провод» истории страны. Эмблематичным в этой связи видится название заключительной повести указанного цикла — «Дом на набережной» (1976). Это именование, в свою очередь, перекликается с названиями написанной тридцатилетием ранее поэмы А. Твардовского «Дом у дороги» и романа Ф. Абрамова «Дом» (1978).

(Да и «Тихий Дон» тут припоминается не только в силу фонетики — сошлось на первую его строку: «Мелиховский двор — на самом краю хутора...»).

Дороги недавней истории занимали нашу словесность — особенно в советском её варианте — гораздо больше, нежели домашние перипетии. Да и у большинства здешних писателей и читателей своих домов в XX веке не было. Мы и ныне живём не в домах, а в квартирах: удобств в них, само собой, больше, а вот с уютом — посложнее. Ведь дом — это не столько жилплощадь, сколько семья. Это родовое целое — сменяющие друг друга поколения, олицетворяющие собой эстафету бытия, о чём с лаконичной простотой написал А. Швейцер: «Наша жизнь возникает из другой жизни и сама порождает другую жизнь...» (Восток / Запад, 1988, № 3. С. 230).

Служба слова — на злобу дня и на доброту лет

А квартира даже семантически — только кварта (часть) городского муравейника.

Век жестоко корректировал органику человеческого бытования. Не потому ли мы в полной мере не осознали духовную значительность лучшей русской повести последнего полувека, в содержании и названии которой заключён непреходящий нравственный завет, — «Живи и помни» Валентина Распутина. Её ставили в ряд то «военной» прозы, то «деревенской», то других повестей этого прозаика, а она над любым рядом возвышается. Вот что через столетия, сколь парадоксально, столь и трагично своей нравственной непреложностью, перекликается с «Домостроем» Сильвестра!

«Семьестроительная» вторая часть той давней книги убеждала: «Доброй женой блажен и муж, и число дней его жизни удвоится... Хорошая жена — благая награда, ибо делает мужа своего добродетельней. Жена добрая, трудолюбивая, молчаливая — венец своему мужу». Герою повести, напечатанной в 1974 году, сибирскому мужику Андрею Гуськову повезло на такую жену. Да не повезло с веком. Сюжет произведения, приходящийся на последний год Великой Отечественной, разворачивается так, что Андрей, после ранения и госпиталя неумышленным дезертирством спасая себя от предчувствуемой смерти на передовой, тем самым обрекает на гибель остающуюся ему верной и в этих обстоятельствах жену Настёну и их неродившегося первенца.

Подобно тому, как Соня Мармеладова берёт на себя тяжкий грех Родиона Раскольников и спасает его, Настёна своим бесповоротным выбором осуществляет покаяние за вину мужа. Он губит её своей жизнью, тогда как она спасает его своей смертью.

Лучше всех об этой книге написал критик Валентин Курбатов: «Для того, чтобы родилась такая повесть, ещё надобна была живая Родина, твёрдое и для всякой судьбы единое чувство народного закона, нерасшатанный быт и крепость неоспоримых законов. Писатель как будто предчувствовал наступление этического беззакония и торопился проститься с тем лучшим, что держало народ, задеть нас страдающей правотой совершающегося и перед всяким сердцем поставить вопрос — прав ли Настёнин суд над собою и, значит, жив ли ещё родивший её народ...» (Курбатов В. Долги наши. Валентин Распутин: чтение сквозь годы. — Иркутск: Издатель Сопронов, 2007. — С. 121).

Для Распутина этот семейный и частный, на первый взгляд, в масштабах страны и военной чрезвычайности вопрос соизмерим и соотносим по актуальности и долговременности с прежде помянутыми «Что делать?» и «Как нам обустроить Россию?».

Наш современник создал книгу, неочиненную для познания русской души и русской судьбы. У России — женское лицо. Лицо пушкинской Татьяны, Наташи из «Войны и мира», Аксиньи из «Тихого Дона», героини

ахматовской поэзии, а теперь вот и Настёны из «Живи и помни».

Повесть В. Распутина, не сомневаюсь, знают и любят все, продолжающие читать по-русски. А ещё одно издание, знаковое, по моему убеждению, не единственно для нашего разговора, пока почти не известно. Страницы книги Дмитрия Шеварова «Добрые лица» (М.: Феория, 2010) — все! — возникли по движению сердца. По любви. Не стесняющиеся своих журналистских истоков, они предстают редким в нынешние беспасфосные времена примером лирической прозы. Чистой, без преувеличения, литературой, когда определение характеризует и несомненную принадлежность характеризуемого к художественной словесности, и его тональность, неизменно выверяемую тем, что в старину именовалось добротолбием.

«Он сделал своё восхищение жанром», — так аттестуется в книге один из её героев, последовательный оппонент казарменной педагогики Симон Соловейчик. А жанром Дмитрия Шеварова стало сочувствие. Точная настроенность на жизненную стратегию тех, о ком он пишет. А пишет он с непугаемым восхищением о подвижниках культуры — людях, олицетворяющих её в самых разных вариантах и обстоятельствах.

Естественно, в галерее лиц, запечатлённых в книге, немало служителей муз — литераторов, художников, артистов. Но беседуя с ними или ведя речь о них, автор — в отличие от многих коллег по газетному цеху, чьи интервью и эссе, накапливаясь, тоже оборачиваются книгами, — интересуется не столько текстами, картинами, ролями своих героев (хотя и этим тоже), сколько их личностями. Составом души, если угодно. Атмосферой, обусловленной их присутствием в мире.

И то же самое заботит автора, когда он пишет о своём дедушке, своей учительнице, своей соседке, своём университетском (и моём, к слову) преподавателе философии. Не поведай о них Дмитрий Шеваров — кто бы о них знал и помнил! А знать и помнить, он убеждён, надо. Ибо все его герои — при несходстве занятий и статуса, несопоставимости по известности, несовпадении во времени и месте — люди Рождества. Люди внутреннего света. Люди, не забывшие своё детство.

Детство, детский, детское — самые, пожалуй, повторяющиеся в этом томе слова.

Чтобы не быть перекасти-полем, надо ощущать родовую память. История для каждого из нас начинается с папы и мамы, дедушек и бабушек. Но и «группа души» определяется ими, самыми близкими. И дело тут не только в генетике. Тепло семьи, уют домашнего очага, неразменное богатство первых лет бытия жизненно необходимы человеку на тернистом пути последующего существования.

Автору книги, как он не раз обмолвится, повезло: «У меня (редкий случай в моём поколении!) было двое дедушек и две бабушки... У большинства моих сверстников не было другого деда, кроме Чуковского». И, как знать, мера этого дарованного детством счастья (помните, у Валентина Берестова: «Любили тебя без особых причин / За то, что ты — внук, / За то, что ты — сын...») и обуславливает один из вероятных ответов на вопрос, риторически возникающий в эссе о Зинаиде Серебряковой: «Ну, почему один человек рождается с солнцем в душе и никакие беды не в силах затемнить его, а другой может всю жизнь прожить благополучной и сытой тучей?»

Наше поведение, если согласиться с физиологом и мыслителем Алексеем Алексеевичем Ухтомским, определяется «доминантой на другого», именно ей принадлежит решающая роль в формировании личности: «Мы видим во встречном человеке преимущественно то, что по поводу встречи с ним поднимается в нас... Встреча с человеком вскрывает и делает очевидным то, что до этого таилось в нас...».

Эти выкладки позволяют сказать, что, портретируя других, автор книги неумышленно создаёт в ней и автопортрет.

В эпоху тотального раздражения (и разложения) он утверждает необходимость лада, возможность гармонии. Хотя бы в своём слове. В своей душе. И такая полемически акцентированная позиция — видеть во всём доброе и хорошее прежде отрицательного и плохого — не от маниловского неведения и не от душевной слабости, а от веры, пусть и кажущейся утопичной, в человечность, от надежды на то, что «добро не может душу не задеть», от убеждённости, явленной отечественной классикой двух недавних столетий: «Страна темна, а человек в ней светится» (Андрей Платонов).

В книге нет персонажей, окликаемых лишь по фамилии или бюрократически обозначаемых фамилией с инициалом — всё непременно с именем. Мелочь, вроде бы, а и в ней проступает отношение автора к тем, о ком он пишет.

Ни одного подлеца, ни одной «нерукопожатной» особи не упомянуто на книжных страницах даже в придаточном предложении. Здесь живут мимо зла и суеты. Не то что бы не соприкасаясь с ними, но не сосредоточиваясь на их наличии. Зло опровергается производством добра (позволим себе этот техницизм, подсказанный очерком о кинорежиссёре Леониде Нечаеве). Как много у нас хороших людей в отечестве! Надо только их разглядеть, вспомнить, встретить, разговорить. И суметь о них рассказать.

Служба слова – на злобу дня и на доброту лет

Тем самым оправдывая живущих на этой земле — в полном согласии со строчками дру-гого Дмитрия — поэта Сухарева:

«Чем клясть всемирный мрак,
Затеплим огонёк».

Так думает дурак.

А умным невдомёк.

И легче дураку.

И в мире не темно.

И умные стучат

К нему

В окно.

Света в этой книге столько же, сколько и детства. Свет зимнего дня, перетекающий в окна домов, чтобы под вечер вернуться на улицу длинными жёлтыми башнями. Ясный свет глаз крестьянок на полотнах Венецианова. Торжествующая над цветом

светопись фотографий Павла Кривцова. Свет зелёного абажура на столе профессора Сигурда Оттовича Шмидта. Свет Вечного огня — рядом с которым две положенные кем-то оладушки — в провинциальном Фатеже, родине Георгия Свиридова. Ровное дыхание свечи в сельском храме Покрова под Вологодой... А где свет, там и тепло. Тепло бабушкиной ладони, чуть грубоватой от натруженности. Тепло только что привезённого с хлебозавода каравай. Тепло солдатской самокрутки. Тепло рефлектора, поддерживающего возможность работать в едва отапливаемом — 1996 год — Пушкинском доме. Теплота ровного голоса Виктора Татарского, чьи пятое десятилетие длящиеся «Встречи с песней» помогают человеку увериться в своём достоинстве, пережить ночь и разжать тиски одиночества...

В «Добрых лицах» более сотни «крупных планов». Однако нет ощущения монотонности. Поскольку в каждом очерке, в каждой беседе — свой сюжет, своя внутренняя тема и, конечно же, свой «изюм» наблюдений, парадоксов, подробностей.

Вот история о писательнице Евгении Таратуте, уже фамилией расположенной к тому, чтобы заниматься детской литературой. Родилась в Париже и помнит, как немцы бомбили французскую столицу ещё в ту мировую, которой суждено было стать первой. В 1939-м вместе с матерью её сослали в Тобольск, куда — горестная фантастика отечественной реальности — в начале века уже ссылался отец Евгении и откуда она, как и её папа, бежала, скрываясь потом в Москве то у Корнея Чуковского, то у Агнии Барто, то у Льва Кассиля (с тех пор, уточняет автор, она убеждена, что самые храбрые люди — это детские писатели).

А в 1950-м новый арест и новый срок («Пять месяцев следователь бил и пытал, чтобы я призналась в близком знакомстве с Маяковским...»). Но очерк о той, кого, как и многих, век испытывал на излом, становится гимном книге, гимном стихам: «Великая русская поэзия спасла меня. Я про себя читала «Песнь о вещем Олеге» и «Во весь голос». Следователь видел, что я ухожу от него, свирепел, но ничего не мог сделать, я не слышала его... Если бы я не помнила стихов, я бы погибла». И, уже

почти потеряв зрение (годы и лагеря!), она радуется: «Строки Пушкина мне светят».

Вместе с героиней автор дивится тому, как при всех метаморфозах жизни Евгений Александрович удалось сохранить те книги, что составляли радость её детства. И рассказ о такой судьбе побуждает задуматься (казалось бы, неожиданно) о будущем книги, которое, по многим прогнозам, прискорбно: «Ничего страшного в этом, строго говоря, нет. Просто очередная техническая революция. Возможно. Но, — спрашивает себя и нас автор, — станет ли компьютер столь же спасительным для души, как книга? Выручит ли из тьмы, когда, не дай Бог, всё погаснет?»

Уже по этому пунктиру видно, что Дмитрий Шеваров, которого, как он признавался в одном из писем, волнует судьба оптимизма, далёк от инфантильного благодушия. О том же свидетельствуют и другие страницы, на которые прорываются слова боли, скорби, стыда.

«За последние годы мы забыли, какими красивыми могут быть старики...»

«Улицам надо давать имена тех, чьи дела не поддаются идеологической уценке. Улицам надо давать имена врачей и учителей. Это — вечное.»

«Мальчик со шпагой» (Владислава Крапивина — Л.Б.) для меня не литература, а пособие по тому, как выжить и не сломаться...»

«Отчего в нашей жизни с годами всё больше ноября и всё меньше мая, июня?...»

Есть среди приведённых и высказывания собеседников автора, но очевидно, что он разделяет их чувства. Во мгле безвременья и безыдеального прозябания он помнит о совете Павла Флоренского почаще смотреть на звёзды и о вере Виктора Борисова-Мусатова в то, что человек носит счастье в себе самом.

Вот начало очерка о той, что перевела на русский сказки Андерсена: «Анна Ганзен... Какое звонкое имя! Будто кто-то постучался с улицы в заиндевевшее окно — коротко и весело, и стекло отозвалось по комнатам: Ан-на Ган-н-зен...» А это — финальные строки рассказа о кинематографисте, жизнь которого искалечили лагеря и ссылки: «На могиле Оболенского стоит деревянный крест. У Леонида Леонидовича не было никаких званий. Ни заслуженный, ни народный.

Просто Оболенский. Но и этого он себе не оставил. Словно своей громкой фамилией побоялся потревожить тишину бедного кладбища. На кресте по завещанию сделали надпись: «Инок Лаврентий, в миру Леонид».

Сейчас порою кажется, будто «люди сметки и люди хватки» утвердились уже повсюду. Тем нужнее сегодня светоносные книги, где перед нами предстают люди сердца и люди веры.

Мне, признаюсь, первоначально хотелось подытожить свой монолог сетованием на то, что серьёзная словесность превращается в нынешней России в нечто факультативное, вроде буквы Ё в современной орфографии. Однако книга «Добрые люди» побудила сменить тональность. Потому согласимся с её автором: «Оставим ссылки на время, на его суетность и порочность. Время самое подходящее, чтобы запечатлеть и беречь всё светлое, чистое и благородное».

P.S. А ныне Дмитрий Шеваров ведёт в пятничных «толстухах» «Российской газеты» рубрику «Календарь поэзии», и в одном из последних выпусков он процитировал замечательные стихи живущего под Мурманском детского поэта Олега Бундура — «Про любовь»:

Мама на папу глядит,
Улыбается,
Папа на маму глядит,
Улыбается,
А день самый будний,
Не воскресенье,
И за окошком — не солнце,
А выюга,
Просто такое у них
Настроение,
Просто они
Очень любят друг друга.
От этой любви
И легко, и светло.
Мне с папой и мамой
Так повезло!

Пока пишутся такие стихи и выходят такие книги, пессимизм и впрямь преждевременен.